

# **Журнал "Роман-газета"**

**№09, 1952**

УДК 82-3  
ББК 84  
Ж92

Ж92 Журнал "Роман-газета": №09, 1952 / – М.: Книга по Требованию, 2021. – 66 с.

**ISBN 978-5-458-61166-4**

«Роман-газета» — советский и российский литературный журнал, издавался ежемесячно с 1927 года и дважды в месяц с 1957. На его страницах опубликованы лучшие произведения отечественной литературы. Печатались Шолохов и Леонов, Твардовский и Шмелёв, Распутин и Белов, Ахматова и Солоухин, Проскурин и Солженицын, Пиккуль и Чивилихин, Балашов и Алексеев, Дудинцев и Успенский, Астафьев и Лихоносов, Бондарев и Бородин и многие другие.

**ISBN 978-5-458-61166-4**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



хватит, лучше я потом забегу и, с сожалением посмотрев на графину, вышел.

Гости Журбинных в этот вечер не столько пили, не столько ели, сколько было у них разговоров за столом.

— Вот ты, Илюша, твердишь: рабочий человек родился, — говорил старый друг Илья Матвеевича мастер Александр Александрович Басманов. Он то выставлял вперед острый подбородок, то поглядывал поверх очков. — А что вдруг академик, или по государственной линии?

— Никакой разницы. — Косматая бровь накручивалась на палец Илья Матвеевича чуть ли не с кожей. — Никакой. Главное — что? Главное — рабочий класс. Ты вот строитель кораблей, и такой строитель, что дай бог каждому из нас на тебя похожим быть...

— Ну, ну, Илюша! — Александр Александрович протестовал, но был доволен, лицо его, и без того морщинистое, покрылось сплошной сеткой мелких морщинок.

— И ты должен понимать, — продолжал Илья Матвеевич, — да, должен понимать... Что главное в корабле? Корпус! От него пловучесть, от него грузоподъемность, от него скорость хода. Все от него. Товарищ Сталин так прямо и сказал, — помнишь, читали с тобой? Есть база, а есть надстройка.

— Товарищ Сталин сказал не база, а базис, — поправил Илью Матвеевича младший его сын Алексей, менее других пошедший в журбинскую породу — высокий, статный, с темнокаштановыми густыми волосами, только брови у него уже и в двадцать два года косматились, как у деда и отца.

— Допустим, базис, — согласился Илья Матвеевич, не взглянув на Алексея. — Научно, так научно. Корпус, значит, базис, остальное надстройки. Вот и в обществе у людей... Рабочий класс — базис, все прочее...

— Путаешь, отец, — снова сказал Алексей. — Во-первых, класс базисом быть не может. А во-вторых, как же так? Там — общественные отношения, тут — корабельные конструкции...

— Послушаем! — Теперь Илья Матвеевич повернулся к сыну, поправил очки; поправил свои очки и Александр Александрович: «Послушаем».

— Некогда мне, — ответил Алексей. — И так опаздываю, без четверти девять. — Он взял с комода свою «капитанскую» фуражку и ушел.

— И верно, Илья Матвеевич, путаешь, — поддержал Алексея Тарасов, знаменитый на заводе специалист по центровке гребных валов. — Корпус без машин — не корабль, а просто корыто.

— А вот на простом корыте первые мореходы и плавали! — Илья Матвеевич снял чашку с блюдца, поставил на нем торчком чайную ложечку. — Подымут парус и идут.

— Парус все-таки нужен, значит, — не сдавался Тарасов. — А что такое парус? Двигатель!

— С вами спорить! — Илья Матвеевич махнул рукой. — Возьмите криво сшитый корпус, наворачивайте на него любые двигатели — посмотрю на ваше плавание. Нечего из-под меня клинья выколачивать. Рабочий класс, — он заговорил отчетливо, раздельно, рубя каждое слово, — корпус корабля всей жизни человечества. Я в международном масштабе объясняю... Дело ясное, и нечего ко мне цепляться. Рабочий класс сам себе и паруса какие хочешь съшьет, и машины построит, и рули... Вот про что говорю,

говорил и говорить буду. Испытал, знаю, верю. Полное мое убеждение!

— Что-то ты, отец, сегодня того... — сказал старший сын Илья Матвеевича Виктор. — Непонятный спор затеял.

— Почему это — непонятный? Очень понятный!

— Непонятный, отец. Кроме рабочего класса, есть еще и крестьянство, есть интеллигенция. Без них — как же?

— Обыкновенно. Рабочий класс — он и крестьянство за собой ведет, и интеллигенцию свою народил, и академиков, и государственных людей. Он — сила. Понял?

— Понял. Только ты про Антоново письмо позабыл.

— А чего — позабыл! Ничего не позабыл. Как бы ни перестраивали завод, — все равно без нас, старых мастеров, не обойдется. Нет, Витя, не обойдется. Ты про Петра Титова слышал?

— Слышал.

— Что ты слышал? Человек сельской школы не окончил, — об этом ты слышал? А тебе известно, что с конкурсом на проект броненосца случилось? Проектов в морское министерство нанесли гору. Рассмотрели их... Первая премия проекту под девизом «Непобедимый», вторая под девизом «Кремль». Вскрывают конверт с надписью «Непобедимый», читают фамилию автора... Титов! Петр Титов. Вскрывают другой конверт. «Кремль». Опять Титов. А кто он такой, Титов? Рязанский шарнишка, рабочий корабельной мастерской Невского завода. Вот он, рабочий класс! Академики тогдашние картузы перед ним, перед Титовым, скидывали.

— Все-таки, батя, дело-то шестидесятилетней давности. В те времена рязанскому парнишке до инженерского диплома дойти было, скажем прямо, труднозато. Но учиться он учился, у тех самых академиков, которые, как ты говоришь, впоследствии картузы перед ним скидывали.

— Нутром взял, нутром, опытом! Талант!

— Нутром! Что-то наш Антоха, инженером захотел стать, не за нутро взялся, а за учебники.

— Ну, и далеко нашему Антохе до Титова.

— Что он пишет-то, хоть объяснили бы, — сказал Александр Александрович. — А то говорите меж собой...

— Да вот пишет... — Илья Матвеевич наколот на вилку маринованный грибок и с безразличным видом принялся его жевать. Хорошо было рассуждать о руде. А дело-то поверачивается так, что, поди, и тебя самого возьмут в перешлавку. Время такое... Те, на демонстрации, новое да новое показывают, а они, корабельные мастера, тот же кораблик на площадь вытащили, что и пять лет назад.

— Пишет, — за отца ответил Виктор, — что закончил вот проект реконструкции нашего завода. Под руководством профессора Белова работал.

— Белова? — Александр Александрович поправил очки на переносье. — Большой силы ученый! — сказал он. — Встречались с ним, приходилось. В Ленинграде. А что реконструировать будем, не пишет?

— Все пишет, — пробурчал Илья Матвеевич. — Из шток, мол, перейдем.

— Значит, не только за вилку палил ты сегодня. — Тарасов потянулся за бутылкой, чтобы налить в рюмки вина.

— Дело долгое, — сказал Александр Александрович. — Наш завод реконструировать — три пятилетки пройдет. Старый заводик.

Никто ему не возразил, но никто и не поддержал его. Все промолчали. Задумались. Было над чем задуматься. Новость, о которой Антон сообщал в поздравительном письме, полученном Журбиными накануне Первого мая, касалась каждого из присутствующих. Если что-то будет меняться в жизни завода, разве ничто не изменится в их личной жизни? Был позабыт спор, затеянный Ильей Матвеевичем. Никто уже и не помнил, из-за чего он возник; никто, кроме Алафьи Барцовой, не думал больше о виновнике застольного ширшества, о Дуняшке, которая после мук и мытарств, сопутствующих рождению нового человека, крепко спала в палате родильного отделения, о молодом отце, одном из сыновей Ильи Матвеевича, — Косте, который измучился в этот день, пожалуй, не меньше, чем сама Дуняшка, и тоже дремал, на диванчике в вестибюле больницы.

— Когда же они там успеют, — как бы самому себе задал вопрос Александр Александрович, — просят этот составить? Тяп-ляп — и вышел корабль, так, что ли?

— Тяп-ляп! — Илья Матвеевич поймал на вилку новый грибок. — Больше двух лет занимались.

— И никто не знал...

— Кому надо, тот знал. В секрете, пишет, держали. Государственное дело. А теперь из секрета вышло.

— Ну, а что, что?.. Как?.. На поток — общие слова. Как оно будет? — заговорил Александр Александрович. — Если по примеру новых заводов, — какую стройку надо начинать! Одни цеха ломать, другие закладывать...

— Так и придется.

Виктор разложил на столе газету, и по ней стали чертить красным карандашом: ломались и закладывались цехи, наново перекраивалась заводская территория.

Но реконструкция — только ли зданий, станков, оборудования она касалась? Ни Илья Матвеевич, ни Александр Александрович, и никто из присутствовавших в этот вечер за столом Журбиных не подозревал о том, что принесет каждому из них задуманная Антоном перестройка завода.

## 2

Выйдя за калитку, Алексей остановился: надо было решить, как побыстрее попасть в клуб.

Клуб еще задолго до войны построили за Веряжкой, на холме, на пологих склонах которого несколько позднее разбили прямые улицы, заложили фундаменты двух десятков многоэтажных зданий, начали возводить стены. Война прервала стройку в самом разгаре, помешала замыслу архитекторов, по которому Старый поселок должен был исчезнуть с географических карт, а в полутора километрах от него надлежало возникнуть красивые кварталы, которые соединили бы завод с городом. Котлованы, обведенные бетонной кладкой, залило ржавой подпочвенной водой; в них, как в прудах, по всем законам природы росли мрачные рогозы с подобными шляпкам жесткими листьями и каждую весну заводились жизнерадостные головастики.

Только спустя год после войны работы на холме начались вновь. Домик за домиком разваливались в Старом поселке под топорами плотников, жители переезжали на новоселье за Веряжку. Была когда-то в Старом поселке Лоцманская улица. Теперь ее здесь не стало, — она за ре-

кой. Была Маячовая, — тоже «уехала» целиком. Сильно укоротилась и Якорная.

Алексею была видна вся ночная панорама заречья, которое в отличие от Старого поселка называлось Новым поселком, но уже давно не было ни поселком, ни городком, а составляло окраинную часть Приморского района города. Яркими огнями были обозначены этажи домов, похожих во мраке на огромные медлительные корабли. Матросы судов дальнего плавания, стоящих на ремонте в заводских доках, с моряцкой суррой насмешливой снисходительностью ко всему сухопутному, так и называли эти дома — сорокатуриными пароходами.

Алексей окинул взглядом ряды огней, которые шестрым ожерсьем опоясывали холм, отыскал среди них матовый свет возле клубного подъезда; через десять минут под один из тех белых шаров придет Катя.

Надо было спешить. Алексей пошел, почти побежал напрямик через разбитник, которым поросли берега Веряжки. В кустах было сыро и грязно, хлюпало под ногами. При иных обстоятельствах Алексей, наверно, пожалел бы новые ботинки и светлый костюм, на котором ветви разбитника оставляли длинные полосы каевой-то белой дряни. Но до костюма ли, до ботинок, когда ты опаздываешь на свидание!

Он и в самом деле опоздал. Катя в широком обманчивом пальто, которое сделало ее маленькую крепкую фигурку непривычно полной, сиротливо стояла на мокром тротуаре, под фонарем, вся освещенная с головы до ног. Выбиваясь из-под шляпы, выщипая волосы ее сняли золотом. С рассеянной пристальностью она разглядывала афишу в клубной витрине, затянутой провололочной сеткой.

От волнения, от быстрого бега у Алексея перехватило дыхание.

— Катя... простите... пожалуйста. У нас родился внук.

Лицо у Кати было какой-то необыкновенной чистоты, глаза голубые, губы сухлые, яркие. Таким глазам и губам только бы улыбаться. Но они не улыбались.

— Поздравляю, — сказала Катя безразличным тоном. Она считала этот холодный тон единственно подходящим по отношению к Алексею, который опоздал. Сама она пришла ровно в девять, и даже не в девять, а несколькими минутами раньше, но выждала до девяти, причесав за трансформаторной будкой.

Пока она снимала в гардеробной пальто и шляпу, пока поправляла прическу и одергивала складки короткого полосатого платица, Алексей, робея, стоял в сторонке. Он понимал, что должен был помочь ей снять пальто, отдать его гардеробщице и спрятать в карман жестяной номерок; понимал, а как сделать это все шловечее, не мог придумать. Чтобы занять время, он то и дело вытаскивал и снова прятал носовой платок, причесывал волосы, и так хорошо причесанные.

Робость и беспокойство Алексея усиливались еще и оттого, что, пригласив Катю на танцы, он вдруг усомнился в своих способностях. До этого вечера ему приходилось танцевать только дома с Костиной женой Дуняшкой да с Лидой — женой другого брата, Виктора, которые и были его наставницами по части вальсов и краковяков. Что если он собьется с такта или отдавит Кате ногу? И вообще — зачем он затеял такую чепуху: приглашать ее на танцы? Вечер теплый, тихий, гуляли бы где-нибудь. Но как было

сказать: «Пойдемте гулять со мной, Батя?» Другое дело — показал билеты, и хотя бормотал что-то не очень внятное, билеты говорили сами за себя.

Батя не спеша — к чему спешить, когда уже опоздали? — продедала все, что проделывают девушки перед зеркалом театрального гардероба, даже, шлокнув палец, пригладила золотистые брови, которые совсем не надо бы приглаживать — пушистые они были куда красивей, — еще раз одернула платье, поправила на нем пояс и повернулась к Алексею, попрежнему холодная и безразличная.

Музыка в зале гремела. За приоткрытой дверью мелькали руки, плечи, дольки, сивны и затылки, раскрасневшиеся лица; тянуло запахом духов и шудры.

— Надо подождать перерыва, — сказала Катя. — Посидимте пока где-нибудь.

Они зашли в гостиную, которая в клубном указателе, висевшем в вестибюле, называлась: «Зимний сад». О саде здесь ничто не напоминало, кроме двух искусственных пыльных пальм в зеленых кадках да огромного аквариума без воды, в котором на дне были густо набросаны окурки и бумажки от конфет. Катя присела на диван, стараясь не помнить платья. Возле нее, в некотором отдалении, сел и Алексей.

— Вот не думала, что вы такой старый, — сказала она. — Уже и внук!

Ей заскучило разыгрывать обиду. Наконец-то улыбнулись эти глаза и губы.

— Да нет, это у брата! — принялся объяснять обрадованный Алексей. — Мне — племянник.

— У вас много племянников, дядя Леша?

— Один.

— Наверно, очень бесполовойно, когда в доме маленькие дети.

— Наверно, — согласился Алексей и для чего-то подергал себя за галстук.

Трудно вести разговор ни о чем. А первый разговор при первом свидании, как на грех, всегда ни о чем. Выручала Катя.

— Я бы не хотела иметь детей, — продолжала она. — Да и замуж нескоро выйду. Надо учиться. Вы знаете, мне не удалось осенью поступить в институт. Только окончила десятый класс, сдала экзамены, получила аттестат, вдруг, нате вам, — заболела мама!

«Ну и хорошо!» — чуть было не крикнул Алексей. Поступи Катя в институт, разве он ее когда-нибудь встретил бы?

— Еще удачно, — говорила Катя, — что я в школе научилась чертить. Иначе не знаю, что бы мне и делать. Чертежница — все-таки квалификация. Только неинтересная.

— Неинтересная?

— Конечно. Водишь и водишь целый день карандашом. Скучно. У вас другое дело!

Катя вспомнила день — это было еще осенью, — когда она впервые увидела Алексея. В синей спецовке, с лицом, испачканным ржавчиной, диковатый, глаза злые, он подошел к ее столу, держась позади главного конструктора. Главный конструктор, Корней Павлович, сказал: «Товарищ Травников! Вот вам эскиз, сделайте, пожалуйста, рабочие чертежи этого приспособления. Надо помочь молодому человеку».

Корней Павлович ушел. «Молодой-человек» долго и старательно объяснял Кате, что ему нужно, но Катя и без его объяснений разобралась в эскизе.

Не только чертежи, а и само приспособление давно было изготовлено, Алексей же с тех пор хотя бы раз в неделю, в две недели непременно заходил в конструкторское бюро. Катя чувствовала, что отнюдь не путаница в чертежах вела клепальщика Журбина к ее столу, тем не менее терпеливо исправляла в этих чертежах все, чего требовал Алексей. С нарочито хмурым лицом неотрывно следил он за ее рукой, вооруженной карандашом или прозрачным угольником из целлулоида. А вчера взял вдруг и принес билеты на вечер танцев. Боялся: откажется. Но Катя и не думала отказываться, приглашение приняла. Первое в ее жизни приглашение на танцы! И когда Алексей не пришел во-время к тому фонарю, под которым уговорились встретиться, она почувствовала себя глубоко несчастной. Мимо нее к подъезду клуба пробегали последние пары опоздавших, она все стояла и стояла, ноги не хотели идти домой: а что если Алексей еще придет?

— Да, Алеша, у вас совсем-совсем другое дело, — повторила она. — У вас такая интересная работа.

— Клепка — что в ней интересного? Стучи да стучи.

— Все-таки лучше, чем скучные чертежи. Клепальщиком мне, конечно, не бывать. Я хочу быть историком. Как только мама совсем поправится, сразу же уеду в Москву или в Ленинград, поступлю в университет. Вы любите историю?

— Любить-то люблю, — ответил Алексей не очень твердо. — Но если говорить по-честному, отстал... знаю мало. Времени нет заниматься.

Батя понимающе кивнула.

Разговор становился проще, свободней. Катя все меньше заботилась о складках платья, Алексей не вытаскивал поминутно носового платка из кармана и не дергал галстук. Каждый спешил рассказать о себе, о своей жизни и с интересом выслушивал другого.

Они не заметили, как начался перерыв, не замечали знакомых, которые, заходя в гостиную, здоровались с Катей или Алексеем, и, когда в зале вновь грянула музыка, оба рассмеялись.

— Ну вот, — сказала Катя. — Опять опоздали!

Да и зачем теперь какие-то танцы! Алексей предложил пойти погулять, храбро подал Кате пальто, но взять ее под руку отваги уже не хватало.

Они ходили по улицам, стояли на мосту, всматриваясь в темную воду, кружили окраиной города, по безмолвному уговору выбирая путь длиннее и безлюдней. И все говорили, говорили... Может быть, майское небо в эту ночь и было для кого-нибудь черным, закутаным в сырые плотные тучи, — только не для Алексея.

### 3

Среди Журбиных были двое, до кого весть о пополнении семьи, несмотря на шумный салют, в срок не дошла. Когда гремели залпы Иды Матвеевича, эти двое сидели за столом в домике на дальнем конце Старого поселка и сражались в пашки.

Один из них приходился братом-погодьем Илье Матвеевичу и до того был похож на Илью Матвеевича, что

на заводе их постоянно путали. Василий Матвеевич тоже лысел, тоже не давал покоя своим бровям, и вокруг его короткой могучей шеи, как и у брата, не сходились воротники покупных рубашек.

Другой — до глаз обросший седой бородицей с остатками прежней смолевой черноты, косматый, потому что в бороде этой ломались любые расчески, — походил на жилистого старого-престарого льва, мудрого, познавшего жизнь. Это был патриарх, глава семьи, отец братьев Журбиных, Матвей Доросевич, дед Матвей.

Каждое воскресенье и каждый праздник он с утра приходил к Василию Матвеевичу и гостил у него до поздней ночи. Официальной целью таких посещений служила необходимость разузнать, что и как творится на свете. Василий, дескать, член завкома, с горы ему все видно, все известно. Но была и другая, за долгие годы ни разу не названная своим именем, тайная — и главная — цель. Опыт жизни подсказывал деду Матвею, что как бы ни хорошо относились к нему родные, как бы ни берегли его, как бы ни заботились о нем, все-таки их тяготят его стариковские недуги, его капризы и родные устают от него за неделю. Он уходил к Василию якобы за новостями и разъяснениями — которые мог получить и дома, — на самом же деле, чтобы дать отдых Илье, Агаше, внукам и их женам.

У Василия Матвеевича деду были всегда рады. Даже в семьдесят восемь лет он не был тем скучным стариком, какие нагоняют тоску на окружающих. Он любил поворчать, «поучить», — ну что ж такого! Зато он знал тысячи удивительных историй. Даже сердитая и не слишком покладистая жена Василия Марья Гавриловна и та затихала, когда он принимался за рассказы.

В самом деле удивись: годы идут, а рассказы деды никогда не повторяются — все новые да новые. Когда его спрашивали, не сам ли он их выдумывает, дед Матвей отвечал: «Жизнь почище нас с тобой выдумщица».

Деда Матвея не раз приглашали в ремесленное училище: вот, мол, послушайте, ребята, каким трудным путем шел рабочий человек в былые времена! Дед придет к ребятам, примется вспоминать соломенную деревушку где-то в Тверской губернии, отца своего Доросея, у которого он был последышем, одиннадцатым по счету, и потому нежеланным: лишний рот. Вспомнит тот день, когда умерла мать и отец чуть ли не у ее могилы объявил ему решение отправить его в ученье, в город.

Памятное было ученье. Три года провел он под сводами жестяно-медной мастерской «мастера Отто Бисмарка» — как значилось на облезлой вывеске над входом в подвал. Научился выпиливать в тисках ключи к замкам, паять чайники, лудить самовары и кострюли. Но хотя очень полюбилась ему работа, в результате которой из рук его выходили полезные людям вещи, сильно тосковал по ребячьей жизни. Годам к тринадцати тосковать перестал, ничто как будто Матвея уже не интересовало, и никуда его не тянуло.

Однажды соборный дьякон принес в мастерскую необыкновенную штучковину: клетка из бронзовых прутьев, сведенных кверху куполом, и в ней, на жердочке, пичуга ростом со щегла, вся в красных ярких перышках. Дьякон покрутил ключом внизу клетки, пичуга встрепенулась, пискнула по-живому и опять замерла.

— Вот, — сказал дьякон хозяину, — дальше не идет. Сломалась. А как цела, как цела, что жень! Дар матушки,

Марии Феликсовны, стрепетовской помещицы. Бесценный дар. Дорожку им. Ничто не утешит, ежели утрачен он навечно. Вываю, верните, Отто Карлович, к действию, ни перед чем не постою.

Хозяин унес клетку в свою квартиру в надворном флигеле, вдвоем с лучшим мастером Иваном Гусевым сидел там, запершись, восемь дней с утра до ночи. Все эти дни работа валилась из рук Матвея. Он только и думал о пичуге, поразившей его ребячье воображение. Неужто человек такое чудо сработал? Вот-то, поди, мастер! Он слышал из разговоров, что есть на свете особенные люди, у которых золотые руки. Не иначе, только руками из чистого золота и можно было смастерить красноперую джюковину.

На девятый день хозяин появился в мастерской, швырнул клетку на стол, на который ставились готовые починки, обругал мастеровых, подмастерьев и мальчиков — всех сразу, двинул дверью так, что на верстаках забрякало и зазвякало. Иван Гусев объяснил:

— Ярится Отка. Не то, говорит, плохо, что птица не запела и убыток ему, а главное — авторитет фирмы страдает.

Матвея лихорадка брала от желания заглянуть в нутро птицы, развинтить ее, проникнуть в тайну чудесного пения.

К его счастью — а получилось потом к несчастью — дьякон долго не приходил, клетка стояла и стояла среди кастрюль и самоваров. И каждую ночь, когда уснут мастера в своей казарме, Матвей прокрадывался через окно в мастерскую, зажигал свечу и шестерню за шестерней, пружинку за пружинкой, штифтик за штифтиком разбирал и исследовал птичий механизм.

Бессонные ночи стали сказываться: когда он шел, то покачивался, как пьяный, глаза сами закрывались над верстаком. Ему казалось — еще бы ночь, еще бы две ночи, и тайна птицы будет раскрыта. Но явился дьякон и унес птицу. А на другой день снова пришел и накричал на хозяина: птица-де окончательно испорчена. Один из мастеров предал Матвея — видел, мол, как тот копался в клетке. И вот ему объявлено: «Марш, куда знаешь!» Куда «марш»? Домой, конечно, к отцу. Шестьдесят верст пешком. Матвей пошел, но не одолел он и четверти пути — свалился в какой-то деревне и пролежал в доме сердобольной вдовой старушки три долгих недели. Слышал, над ним говорили: «горячка».

Едва встав на ноги после болезни, впервые понял, какую драгоценную кладь унес он из грязной, вонючей мастерской Отто Бисмарка. Началось с того, что починил замки в избе приютившей его старушки; затем, когда немного окреп, стали его звать старушкиными соседями — у них тоже всяческие починки. Матвей переходил из дома в дом, переезжал из деревни в деревню, собрал помалу в холщевую сумку немудрящий инструментишко — лудил, паял, точил. К отцу, к братьям не тянуло. Матвей Журбин, сам того не зная, стал рабочим, пролетарием, которому нечего терять, потому что все его богатство — руки, трудовые, избитые молотками и разъеденные кислотой руки.

Такие руки в те годы были всюду нужны. Российская родовая знать отступала перед промышленниками и предпринимателями, на месте перекупленных загородных имений и дворцов строились заводы. И когда Матвей добрался до Петербурга, его сразу же взяли на корабельную верфь слесарем. Но долго ему на одном месте не работалось. При-

вык к бродячей жизни, такой привольной после мастерской немца. Переходил Матвей с завода на завод, с фабрики на фабрику, все чего-то искал, а чего — и сам не знал толком. Он менял профессии, узнал токарный станок, узнал котельное дело, литейное; отправился в дальнее плавание кочегаром, посмотрел заграничные страны — Индию, Японию, был на острове Борнео, в английском порту Сингапуре, в Южной Америке.

Двадцати лет его «забрили» в солдаты, в драгунский полк, расквартированный в Польше под Ломжей, на должность — в соответствии со слесарной специальностью — помощника полкового оружейного мастера. Оружейное дело пришлось Матвею по душе. Ухватился он за него так, что через год или два уже сам стал мастером. Приедет инспекция — оружие в полку всегда в полной исправности. Командир, понятно, доволен, на поощрения оружейнику не скупился, ценил его, потворствовал ему. И когда случилось происшествие, из-за которого другой бы кто бед не обобрался, Матвей Журбин вышел из него вполне благополучно.

Об этой поре и вообще о дальнейшей своей жизни старик ребятишкам-ремесленникам не рассказывал, умалчивал о ней; да и как о таком расскажешь? Познакомился он там, под Ломжей, с молоденькой полячкой, дочерью местного столяра-краснодеревщика, Ядей Лучинской. Драгун — здоровяк, чернобровый, глазастый. Полячка — тоненькая, белокурая, синеокая. Влюбились друг в друга — жизни обоям нет. И еще от того жизни нет, что столяр Лучинский просватал дочку за ломжинского учителя пана Скрипку. Но Матвей не отступил перед паном. Трудовые годы его многому научили. Представление у него сложилось определенное: жизнь — борьба, заедаешься — голову оторвет, напористо будешь действовать, без колебаний — победишь.

Едва занялось выжное пасмурное утро дня свадьбы Яди и пана Скрипки, как перед парадным крыльцом дома Лучинских уже выстроилась вереница возков и санок, чтобы везти жениха, невесту, гостей, родителей, друзей в костел; но в тот же час к заднему крыльцу подлетела тройка полковых драгунских коней, с крыльца прямо в сани бросилась Ядя — как была, в подвенечном платье, фате, белых туфельках с блестящими, — и ринулись кони в метель по лесным занесенным дорогам.

Хватились в доме — невесты и след растаял в снежной круговерти. Гнали возки туда, сюда; бухали из старинных ружей и пистолетов в белый свет.

А драгунские кони неслись и неслись и вынесли Ядю, закутанную в тулуп, Матвея и двух его солдатских дружков за сорок верст, к далекому селу. Был поднят с полуденного сна деревенский православный попик; напуганный, он наскоро совершил обряд венчания.

Событие взволновало всю округу.

По понятиям командира полка, старого кавалериста-рубача, Матвей совершил единственно недопустимый проступок: как это так солдат женился, находясь на службе в полку! Остальное — не проступок, а молодечество.

— Тебе бы с твоими повадками в ее величества императрицы Марии Федоровны лейб-гвардии гусарах служить, Журбин, — сказал он. — Ты же, черт возьми, первую красавицу Польши умыкнул, олух царя небесного! Чуть ли не королеву. Посидишь-ка, друг любезный, пять суток в карцере.

Дело кое-как замяли, нашили Матвею унтерские лычки, чтобы имел право жить не в казарме, а на вольной квартире, и на том кончилось. Точнее — кончилось на том, что родители предали дочку проклятию и отказались от нее.

Но ни Ядя, ни тем более Матвей не тужили от родительских анафем. Ядя оказалась большой искусницей. Она обшивала полковых дам, которые ее работу ценили выше, чем работу самых модных варшавских портних. Семья Журбиных в ту пору благоденствовала.

За несколько лет до начала нового века Ядя, с перерывом в год, родила двух сыновей — Илью и Василия. Третий сын родился в первые дни русско-японской войны. Событие это совпало с таким несчастьем, которое круто изменило жизнь Матвея и всей семьи. На пристрелке в руках Матвея разорвало винтовку, — вылетел затвор. Если солдаты своего оружейника со стрельбища и думали, что он уже мертвый, — не дышит, рана во лбу над глазом огромная, кровь из нее не капает, а летит им на сапоги струйками. Военный хирург сказал Яде, когда она прибежала в лазарет, что муж ее вряд ли выживет, а если и выживет, то навсегда останется калекой.

Полк в скором времени ушел из Польши. Матвея уволили с военной службы; он выжил, но месяц за месяцем оставался в постели, полуслепой, полуголодный. Ядя видела, что предсказание врачей сбывается: Матвей — калека, и все-таки он ей был дорог, она не покинула его. Мастерщица мод, если не было других заказов, не гнушалась шитьем простых мешков, пальцы у нее стухли от иглолов и жесткой дерюги. Она работала день и вечер. Ночью, когда дети засыпали, сидела возле Матвея, напевала ему польские песенки и рассказывала сказки. Под ее говор он задремывал.

Умер младший сын; Ядя унесла его на кладбище и снова работала, чтобы сохранить остальных, чтобы сохранить Матвея.

Она надрылась так два с половиной года, пока Матвей не встал. Встал, он увез ее и ребят в Петербург. Время было смутное, время «черных списков» и «вольных паспортов», время докатоу и безработицы, время полицейского террора. С великими трудами удалось Матвею устроиться на корабль кочегаром дальнего плавания. Он плывал, а семья его нищенствовала, ютилась в общем бараке, на территории торгового порта.

Видя эту нищету, эти страдания жены и ребятишек, Матвей иной раз готов был полоснуть себя бритвой по горлу или прыгнуть вниз головой в воду. Выручала Матвея его любовь к жене. Возвращаясь из рейсов, он почти бегом спешил домой; прежде чем обнять детей, хватал на руки ее, Ядю, и носил, как ребенка.

Возраст Яди подходил уже к тридцати. Но красота ее не блекла, — пожалуй, еще только вступала в полную силу, и в такую изумляющую силу, что даже грубые портовые грузчики, которым от нечеловеческого труда все было трын-травой, и те как-то светлели при жене кочегара Журбина, неуклюже, но от чистой души произносили какие-то непривычные им «благодарные» слова.

Так ли жить, так ли ходить его королеве! — думал Матвей, когда смотрел на сто раз стиранные и двадцать раз латанные Ядины платья. Он не гулял в заграничных городах, не пил, не картежничал, как другие, — он выкраивал, выгадывал из кочегарского жалованья каждую копейку, привозил дешевые украшения и побрякушки,

и однажды собрался с силами, привез из Бомбея вещь, действительно достойную королевы, — огромную кашемировую шаль. Шаль скрыла все изъяны в Ядиных одеждах. Ядя ее очень любила и берегла.

В августе тысяча девятьсот четырнадцатого года Матвей призвали матросом на флот. Он дважды тонул на подорванных немцами кораблях и оба раза так упорно боролся за жизнь, что смерть не смогла его одолеть. Ядя была ему маяком, на свет которого он выплывал из балтийских пучин. И когда, под влиянием своих товарищей, матрос стал ходить в тайный кружок, где говорили о том, какими путями пролетарий Матвей Журбин может завоевать хорошую жизнь, он и там думал о своей Яде, для нее мечтал завоевать хорошую жизнь. Ему было уже сорок с лишним, но он все еще не мог забыть того, как Ядя отказалась от достатка, который сулил ей пан-учитель, того, как доверчиво она, семнадцатилетняя, покинув родной дом, проявляемая родителями, отдала свои первые чувства простому русскому солдату, как сидела годами возле его изголовья; в ушах Матвея не умолкали ее нежные песенки.

Ударил выстрел «Авроры». Под пушечный гул высаживался Матвей Журбин на берег возле Николаевского моста, под винтовочный и револьверный треск швырял с мраморных дворцовых лестниц остервенелых юнкеров, носился по улицам Петрограда, лежа на крыле ревущего грузовика. Личное — Ядя — постепенно срасталось в его сердце с тем огромным, чем из края в край хлопотала восставшая Россия и что касалось без исключения каждого пролетария. Он и сам не заметил, когда это срастание началось. С матросскими отрядами он ходил на север, на Волгу, потом вернулся в Петроград, чтобы брать мятежный форт «Красную горку».

Там, за Ораниенбаумом, в прибрежных лесах Матвей встретил сыновей — Илью и Василия, с такими же, как и у него, ленточками на бескозырках: «Балтийский флот». Все вместе, когда пали форты, пришли Журбины в свой дом.

Ядя лежала в тифу, она умирала. Не уберегли, не успели завоевать ей хорошую жизнь.

Не нашлось досок для гроба. Обернул Матвей исхудавшее тело жены, легкое, утратившее привычную теплоту, в кашемировую шаль, на руках понес любимую в последний раз. Ни Илье, ни Василию не доверял, нес один до самой могилы.

Забросал землей, сел возле — заплакал. Не стало светлого маяка, и впереди все темно.

Утирали слезы сыновья. Но нет, не так они любили свою мать, как он ее любил, не могли так любить, молодые и эгоистичные. У них свои маяки, придет час, зажгутся, а у него уже никогда, угас навеки.

И до того горько стало Матвею, до того жалко себя, одинокого, бесприютного... Чувства эти достигли такого напряжения, что переросли в злобу, в ярость на тех, кто не убрался во-время с земли, кого еще надо было громить и рушить, вкідать через парапеты мраморных лестниц.

Он поднялся с земли и пошел каменным тяжелым шагом, с горем и ненавистью в глазах под косматыми бровями. И еще долго шел — шел по Донбассу, по берегам Черноморья, по Крыму... Шли своими путями и его сыновья, и вновь сошлись в Петрограде. Но сыновья были уже не одни. Илья привел с собой из походов маленькую ивановскую ткачиху Агашу, Агафью Карповну, Василий —

Марийку, Марью Гавриловну, дочку богатого тамбовского мужика. По-разному отнесся Матвей Доросевич к молодухам. С ухмылкой глядел на купчиху, как он в уме называл Марийку, — хоть бы малой толикой походила она на незабвенную Ядю! Чем она полюбила Василия? Зато Агаша тронула его за сердце. Было, было в ней что-то от Яди, очень немного, но было. Веселая, любящая, радушная.

И когда по партийному призыву отвоёвавшие Журбины всей семьей отправились из Питера на далекую реку Ладу восстанавливать корабельный завод, Матвей Доросевич поселился вместе с Ильей и Агашей на Якорной улице, а Василий, чуя отцовскую неприязнь к Марийке, стал жить отдельно. Но проходили годы, Марийка обтерпелась в рабочей среде, под влиянием Василия характер ее изрядно изменился, кулацкий дух из нее повыветрило, Матвей Доросевич мало-помалу привык и к Марийке. Вот ходит теперь каждое воскресенье гостить к ней и к Василию, чего прежде, лет еще двенадцать назад, не бывало. Правда, иным словом, кроме «привык», его отношений к жене Василия не назовешь. Все равно из двух своих любя ему только Агаша. Бывает, что задумается дед Матвей, глядя на Илью и Агашу, и грустит весь день до ночи. А ночью видит во сне свою Ядю. Видел же он ее всегда в том белом подвенечном платье, в каком бросилась она в драгунские сани давным-давным пасмурным утром.

#### 4

Воскресный день дед Матвея, когда он гостил у Василия, проходил по распорядку, заведенному еще до войны. Дед завтракал вместе со всеми, садился после завтрака на кушетку у окна под филодендром с дьявольскими листьями, выращенным в кадучье Марьей Гавриловной; садился напротив него в старое плюшевое кресло Василий Матвеевич, и начиналась долгая беседа.

Дед Матвей курил кривую короткую трубку, от которой в его бороде образовались рыжие подпалины, покашливал; но не дай боже, если Василий Матвеевич вздумает сказать ему о вреде курения в его возрасте.

— Не вались, — начнет сердиться дед. — Наслышался я про твой никотин от докторов. А гляжу вот на Уинстошку — тоже мужчина не молодой, — сигару из зубов не выпускает. Ты пробовал сигару-то, Вася? То-то, что нет. И не пробуй, все нутро вывернет. А он, проходилец, сосет да сосет чортову отраву, и ничего ему, брда-стома, не делается.

Не упомянуть Уинстошку, так он называл одного из главных поджигателей войны, дед Матвей не мог, о чем бы ни шел разговор. Запомнил его с той далекой поры, когда впервые столкнулся с танками-лохачами, которыми интервенты снабжали Врангеля и Юденича, и ненавидел «брудастого» стойкой стариковской ненавистью. Он не поверил союзническим заверениям Уинстошки и в дни Отечественной войны, с самого начала не поверил. «Обманет, продаст, ребята», — говорил на заводе, добавляя слова «расдвечивания». «Нехорошо так, дед Матвей, — увещевали его, — раз союзник, похоррректней надо, сам понимаешь, без выражений».

— Так что он опять замышляет, Вася? Как говорят? Вьетнам, Малайя, Индонезия — Василий Матвеевич,

подойдя к большой карте на стене, называл знакомые деду места; происходили подробный и обстоятельный разбор мировых событий.

— С лестниц бы их, с лестниц, сынок! Чего народ там смотрит?

Дед Матвей задремывал до обеда; Василий Матвеевич уходил в поселок — к брату Илье, к товарищам по заводу. В обед, если деда не слишком унетал какой-либо из его старческих недугов и он чувствовал себя бодро, выпивалась стопка столичной. Сердитые глаза теплели, поблескивали веселыми искрами, дед начинал рассказывать. Рассказы перемежались песнями, которых никто, кроме деда Матвея, не знал. Он напевал глухим рыкающим басом; любимая его песня была про морское сражение русских с турками:

Море дымом покрылося черным;  
Ядра рвутся, и волны режут.  
В бой-атаку трубят трубы-горны,  
Корабли полным ходом идут.

В тот день, когда у него родился правнук, дед Матвей не чувствовал почти никаких недомоганий, был бодр и потому вышел не только за обедом, но и в ужин.

Они сели с Василием Матвеевичем за пашки. По пашкам дед Матвей был в поселке полным гроссмейстером, но и Василий Матвеевич не многим ему уступал. Борьба шла упорная. То наступало длительное молчание, то вдруг возгласы: «Ага, в дамках!», «Мазло, профукал!» И если «профукал» Василий Матвеевич, а он, дед Матвей, пробрался в дамки, косматый стратег принимался победно гудеть: «В бой-атаку трубят трубы-горны...»

Как известно, в шашечном сражении мало уничтожить противника, съесть все его пашки; высшее одоление — хоть одну из них прижать в уголке и не выпустить. Такое положение Василий Матвеевич называл весьма деликатно: «туалет», «запер противника в туалете». Дед Матвей иносказаниями не пользовался, он применял термины, общепринятые у любителей шашек, простые и определенные.

Ему здорово везло в праздничный вечер. Он выиграл партий пятнадцать, проиграв только две; Василий Матвеевич не вылезал из «туалетов».

— Хватит! — сказал в конце концов дед, отодвигая шашечную доску. — Не годишься ты мне, Вася, в противники. Не дорос отца бить. — Он подымял трубкой, покашлял, снова заговорил: — Антоново-то письмо читал?

— Читал.

— Ну и как смотришь?

— А что смотреть! Работать, батя, надо.

— Вот и я говорю: работать. Как работать? Антоха пишет — на шток, дескать... Ладно, на шток... Что это обозначает? Сборка крупными секциями, в цехах. Полная сварка, никакой клепки. Что же, Вася, клепальщики делать будут? Куда тебе в немолодые годы подваться? Куда Алешке идти? Чекащикам, сверловщикам куда?.. И Илье туговато, думаю...

— Да ведь еще ничего, батя, неизвестно, как оно там получится, — перебил Василий Матвеевич. — Проект! А если получится, кто против этого пойдет? Мы с тобой, что ли? Нужны корабли нам, батя, нужны. Морская держава! Должно получиться, на то и живем, чтобы получилось. Ну, может, некоторые и слетят с круга. У кого поджилки слабые. Законно, батя. Всегда так, когда по лест-

нице идешь да на новую ступеньку поднимаешься: у одного ноги выдержат, у другого нет. Особенно, если подъем крутой.

— Верно, Вася. Верно, сынок. Голова у тебя светлая. Лестниц много мы одолели. Крутые были лестницы, трудные. И эту, значит, одолеем?

— Морская, говорю, держава.

На улицу дед Матвей вышел в боевом настроении. Его не провожали, он этого не терпел. Шел тяжело, по-стариковски, подволакивая простреленную под Харьковом ногу, но не переставая гудеть: «Ядра рвутся, и волны режут».

На углу Пушкинской и Чугунного его встретил Егоров. — Поздравляю, Матвей Дорофеевич! — сказал участковый.

— Тебя, братец, так же. С праздником, — не останавливаясь, ответил дед Матвей. — «Море дымом покрылося черным...»

— Да я же про то, Матвей Дорофеевич. С правнуком вас поздравляю.

— Ишь ты! — Дед остановился на перекрестке. — Уже! Ну, значит, правильно я тебе сказал, Кузьмич. И тебя оно касается. С новым, братец, человеком на земле! С новым строителем кораблей! Морская держава!

Дед Матвей, как только мог шире, расправил грудь и весело ткнул Егорова кулаком в плечо, отчего сам же и зашатался. Егоров поспешил его поддержать.

— Ты брось! — отстранил его дед. — Я еще крепкий, будь ты в мои годы таким, скелая.

Дед Матвей побрел дальше.

Правнук! Того гляди, и праправнуков патриарх дождется. От этих мыслей боевое настроение усилилось. Дед Матвей стукнул в освещенное окно разметчика Петьки Кузнецова, — Кузнецову было за шестьдесят, но для деда Матвея он попрежнему оставался Петькой — и, прищипав на ногу, поспешил, как мальчишка, побыстрее убраться за угол. Оттуда выглянул. На крыльцо вышла Петькина старуха.

— Филюганы! — грозила она в темноту. — Ужо я вас! Оборву вот уши...

Постояв за углом, пока Кузнециха грозила «филюганям», дед побрел дальше, к дому.

В своем дворе, на стальной штанге, прилаженной меж стеной дровяника и специально вкопанным столбом, увидел Алексея. Посмотрел, как внук ловко делает обочки и перевороты; окликнул:

— Чего не спишь, Лешка? Час-то поздний.

— А ты чего не спишь, дедушка? — Алексей спрыгнул на землю.

— У меня всякие дела.

— Ну и у меня дела.

— Иди, иди! — Дед Матвей подтолкнул Алексея к крыльцу. По себе знал, какие дела повели молодого парня ломаться на турнике среди ночи. — Сердечную болезнь приватил? Не промахнись, Лешка, в докторше. Промахнешься — искалечит. Спроси у батюки своего... Был у него дружок в молодости, Оська Сумской. Крутила ему юбочонка голову, крутила, до того докрутила — взял, горюн, да и убил и ее и себя из нагана. А не промахнешься, в точку попадешь, тогда...

Что будет тогда, дед Матвей не договорил. Задумчиво погладил Алексея по спине и снова подтолкнул его к крыльцу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Когда Журбины собирались по утрам на работу, в доме бывало так шумно, такая поднималась толчея, будто на корабле во время аврала.

Первыми вставали дед Матвей и Агафья Карповна. Дед — от стариковской бессонницы, Агафья Карповна — по хозяйским обязанностям: готовить завтрак на всю, как она говорила, бригаду.

Бригада была не маленькая. Приехав после гражданской войны на Ладу, Журбины — Матвей Дорощевич, сын его Илья, Агаша и шервенец Ильи с Агашей годовалый Витька — поселились вот тут, на Якорной, 19, все вместе в одной из комнат барака, в котором размещались три семьи, подобные семье Журбиных.

Появлялись новые дети, вырастали, женились, и постепенно Журбины заняли весь дом, перепланировали его, переоборудовали, поделили перегородками неуклюжие комнаты и выкроили из них три уютные квартирки. Квартирное деление имело условный смысл: дабы предоставить молодым невесткам Агафьи Карповны волю устроить семейную жизнь по их вкусу. А по сути дела жили все Журбины сообща, одним семейством; общее хозяйство вела Агафья Карповна.

По утрам дед Матвей щепал лучину, растоплял плиту, садился на скамеечку перед раскрытой дверцей; Агафья Карповна с привычной ловкостью управляла сложной системой кастрюль и сковородок. Это были, пожалуй, самые мирные, самые тихие минуты в доме Журбиных. Получасом позже начинался аврал.

Вставал Илья Матвеевич, вставали Костя с Дуняшкой, Виктор с Лидой, Тоня, которая заканчивала девятый класс; толпились возле умывальника, спорили, кому мыться первым. Без споров место у крана уступалось только Илье Матвеевичу. Он, как того требовала его должность, уходил из дому раньше всех.

Последним вскакивал Алексей, даже зимой бросался во двор на турник, а если дело было летом, то во дворе же с головы до ног окатывался водой из ушата, который для этой цели был подвешен на цепи под крышей сарая, — потянешь за веревку, привязанную к рычагу, — ушат опрокинется.

Когда «бригада» садилась за стол, Илья Матвеевич уже подымался из-за него, брал кепку с вешалки, наскоро гладил Агафью Карповну по несedeющей белокурой голове и уходил. Агафья Карповна неизменно, из года в год, изо дня в день, следовала за ним до калитки и смотрела вслед, пока он не скроется за углом.

Уходил Илья Матвеевич всегда в одно и то же время, точно — минута в минуту, и точно — минута в минуту, когда он ровнялся с голубым домиком на Банатной, с крыльца этого домика, застегивая узкое длинное пальто, его приветствовал мастер Басманов: «Илье Матвеевичу!» — «Александр Александровичу!»

Александр Александрович уже долгие годы был пражой рукой Ильи Матвеевича. Илья Матвеевич — начальник стапельного участка; Александр Александрович — мастер по сборке кораблей. Он был потомственным судостроителем. Отец его строил знаменитую «Аврору», снаряжал броненосцы Тихоокеанской эскадры в русско-японскую войну,

и именно в то время, когда Петербурга достигла весть о сражении в Цусимском проливе, началась трудовая жизнь Александра Александровича. Отец привел его на завод четырнадцатилетним мальчишкой. Через четверть века мальчишка стал мастером. Лесовозы «Сакко» и «Ванцетти», роскошные черноморские теплоходы «Аджария» и «Абхазия», быстроходные крейсера Балтики, многие-многие пассажирские, грузовые, военные корабли, уходя в море, несли в своих корпусах и броне труд Александра Александровича Басманова.

Знакомство Ильи Матвеевича и Александра Александровича возникло еще в гражданскую войну, под Царицыным. Подружились они в боях. Своего старого друга лет пятнадцать-шестнадцать назад Илья Матвеевич переманил из Ленинграда на Ладу. С тех пор они неразлучны, каждый день встречаются на Банатной, каждый день идут вместе до своей конторки на пирсе возле стапелей. Илья Матвеевич — коренастый, широкий, в любую погоду в кепочке с пуговкой, в короткой тужурке, летом — синей, диагональной, с морскими блестящими пуговицами, зимой — бобриковой, с меховым воротничком; Александр Александрович — худой и необыкновенно длинный из-за одежды, которые были ему всегда слишком узки и тесны по довольно странной причине: он уверял, что не терпит, когда в рукавах и по спине гуляет ветер. Илья Матвеевич посмеивался над ветробоязнью старого друга. «Бросай стапеля, Сая, действуй по конторской линии. Или в стеклянном колпаке ходи». — «А что? Надоест людям терпеть эту чертовщину и построят колпак над всем стапелем». Под чертовщиной подразумевался ненавистный Александру Александровичу ветер, от которого, особенно зимой и осенью, на стапелях не было спасения.

Местность, где стоял завод, имела своеобразный характер. На участке, который ныне занимал огромный литейный цех, два предприимчивые инженера заложили в последней четверти прошлого века заводик чугунного литья. Пришлось это в самом устье Лады, при впадении ее в залив или, как местные старожилы называли, в бухту, в двух километрах ниже уездного города. Заводик отливал садовые решетки и кладбищенские ограды, доход с него был невелик, инженеры прогорели. Литейню у них купил какой-то немец, расширил, стал выпускать сначала оборудование для шаровых мельниц, потом локомобили. С течением времени предприятие перешло в казну, лет за двадцать разрослось в крупный механический завод, который построил несколько колесных пароходов для Лады, а в первую мировую войну — две или три морские канонерки.

Берега бухты, у которой стоял завод, были в песчаных дюнах, поросших соснами; дюны и сосны защищали рабочий поселок от морских ветров, в поселке было по-континентальному тихо. На самой же Ладе, прорываясь с моря через бухту, зимой и осенью в период штормов ветры буйствовали, как в узком коридоре, в обоих концах которого настежь распахнуты окна.

Особенно доставалось от этих ветров тем, кто работал на достройке кораблей у причальных стенок и на стапелях. Колпак из небьющегося прозрачного материала, например, из плексигласа, был бы над стапелями, по мнению Александра Александровича, весьма и весьма кстати.

По пути на завод Илья Матвеевич с Александром Александровичем успевали обсудить множество вопросов. Прежде всего — известия, переданные по радио. За миро-

выми событиями шли по порядку семейные новости, потом общезаводские и, наконец, обсуждался предстоящий рабочий день: что и как надо делать, о чем не забыть, на кого «нажать», где что «вырвать».

Путь занимал минут двадцать пять, в зависимости от того, как оборачивался разговор; если возникало взаимное несогласие, замедляли шаг, останавливались, тыча в грудь друг другу пальцами, доказывали свою правоту, и тогда набегало лишнее время; если несогласий не было, «график движения» выдерживался в пределах двадцати минут.

Когда начальник и мастер добирались до своей конторки, из-за стола вставали и другие Журбины. После небольшой толкучки у вешалок, после розысков неведомо куда запропастившихся шапок, шарфов, тужурок и плащей, семейство выходило на улицу. Тут единение рушилось. Тоня отправлялась за Веряжку, в школу. Алексей, Костя, Дуняшка оставляли далеко позади себя деда Матвея, который двигался медленно и чаще всего в сопровождении Виктора.

До калитки Агафья Карповна ходила провожать только Илью Матвеевича, остальным она махала рукой с крыльца и тут же возвращалась в опустевший дом. У нее было множество забот и хлопот. В шестом часу все вернется — к этому времени должен быть готов обед, и такой обед, который бы пришелся на разные вкусы, к этому времени надо было прибраться в комнатах, навести в них порядок и чистоту, чем славился дом Журбиных. Кроме того, Агафья Карповна ежегодно разводила огород, что тоже требовало трудов. Мужчины снисходили только до копки гряд, невесток можно было заставить лишь прополоть межи, швыдергать лебеду; но как они пололи! Лучше бы и не надо их помощи, лучше бы самой все сделать.

Агафья Карповна сажала огурцы, помидоры, сеяла морковь и свеклу и непременно фасоль, которая цвела яркими огненными цветами. В семье никто не любил фасоль, за обедом дружно выбрасывали из супов желтые стручки и пятнистые зерна, и все-таки Агафья Карповна продолжала сеять фасоль. Ее привлекали эти яркие цветы, собранные в гроздь, подобные языкам пламени. А раз цветы — будут и стручья; раз стручья — то надо же их куда-то девать, по-хозяйски использовать, — не пропадать добру. Но добро пропадало, фасоль вылавливали ложками из тарелок и выбрасывали, к величайшему огорчению Агафьи Карповны.

Не всегда Агафья Карповна хозяйствовала в одиночестве. Когда невестки брали отпуск, они ей помогали в доме, — Лида и Дуняшка.

Лида, жена старшего сына Виктора, была женщина тихая, склонная к долгим раздумьям, — все свободное время она читала книги. Усадется с книгой в руках где-нибудь в углу комнаты или на лавочке в палисаднике среди клумб, перекинёт на грудь косу, которую носит вот почти до тридцати лет, начнет водить концом ее по лицу, будто висточкой, водит так — и читает, читает.

Агафья Карповна подозревала, что Лида несчастлива с Виктором. Вышла за него совсем-совсем девчонкой, появилась в доме неслышная, что мышка, поначалу всего пугалась: ее, Агафьи Карповны, ворчания, грозных бровей Ильи Матвеевича, бородищи деда Матвея, строгих домашних правил, установленных в семье Журбиных. Агафья Карповна понимала состояние молоденькой жены сына, — сама она, помнится, побаивалась отца Ильи — Матвея До-

рофеевича. Но что там дед, когда у нее была Илюшина любовь! Лиду тоже любовь как будто бы не обошла: Виктор наглядеться на нее не мог; уж до чего берегли ее в семье, каких только нарядов ей не покупали в ту пору, изменив всем правилам строгости и бережливости. Ну как же! — первая невестушка, первого внука принесет. Нет, что там говорить, была, была у Лиды любовь, — да вот, невпрок пошла. У нее, у Агафьи Карповны, сила, гордость, уверенность в себе, вера в будущее вырастали с годами от суровой и сильной любви Ильи Матвеевича. А у Лиды? — годы идут, никаких новых сил незаметно что-то. Заговори с ней теперь — отмалчивается, отнекивается, того и гляди заплачет.

Дуняшка, Костина жена, та совсем другая. Та вошла позапрошлой весной в дом Журбиных шумно; сразу же сдружилась с дедом Матвеем, с Ильей Матвеевичем, с Тоней, с Алексеем. Курносая, зеленоглазая, бойкая, она привораживала к себе всех, как русалка. Она не отказывалась выпить рюмочку и даже стопочку, когда подносили; она вместе с дедом шела о ядрах и трубах-горнах и сама знала множество песен. Бывает, разойдется на семейном торжестве, схватит гитару, ударит по струнам:

Мой чудный, мой милый, мой золотой,  
Хочу уснуть в твоих объятьях.  
Ты позабудешь в счастья со мной  
И об отце, и матери, и братьях.

«Вольно, — скажет, посмеиваясь, Илья Матвеевич. — Ты, брат, Костюха, посматривай за женой». — «Настоящая девка! — дед Матвей даже ногой приотпнет, глядя на Дуняшку веселыми одобряющими глазами. — Чего за ней присматривать! Это за тихими присмотр нужен. Ай, Дуняха! Ну еще чего-нибудь там такого, позакорыстлей!»

И если Лида сидела регистраторшей в заводской поликлинике, то Дуняшка избрала самую что ни на есть мужскую профессию, пошла в науку к деду — в разметчицы. Костя и протестовать против такого выбора не пытался, махнул рукой.

Была у Агафьи Карповны еще одна невестка — Вера. Она появлялась в поселке летом, на неделю, на две, приезжая в отпуск вместе со вторым, после старшего, Виктора, сыном Антоном. Антон — единственный, кто отделился от семьи. Он окончил Кораблестроительный институт в Ленинграде и на Ладу, на родной завод, уже не возвратился.

С Верой Антон встретился случайно в Одессе, куда ездил лечить друзьями свои тяжелые раны, полученные в боях Отечественной войны.

У Веры была печальная судьба. Работница московского завода резиновых изделий проявила в глубоком кружке большое дарование драматической актрисы. На одном из всесоюзных смотров самодеятельности ей присудили первую премию за исполнение роли Катерины в «Грозе», и она получила приглашение в труппу известного в стране театра. Но в эту же счастливую для нее пору девушка начала слепнуть. Слепота прогрессировала, и врачи посоветовали поехать в Одессу, в знаменитую клинику.

Выходила она из гостиницы в дымчатых очках и всегда шед вечер. Однажды случилось, что в городе по-челому-то погасли огни. Темнота застала Веру внезапно на улице. Вера шла, придерживаясь рукой за железную ограду бульвара, и наткнулась в этом, казавшемся ей непроходимом, мраке на встречного.

Оба вежливо навинтились, уже разошлись было, когда Вера сообразила, что без посторонней помощи она, пожалуй, свою гостиницу не найдет. «Товарищ! — негромко и не очень уверенно окликнула она. — Товарищ!..» Прохожий вернулся. «Извините, — сказала Вера, вдруг напуганная своей, по ее мнению, назойливостью. — Извините, ради бога, я печалюсь». Но он уже все понял по неуверенной походке, по темным очкам, — и не оставил ее одну на улице.

Так познакомилась Антон Журбин и Вера Барабина. Сначала их сблизило то, что они в шутку, но не без горечи, называли своей неполноценностью. А потом нашлось так много общего в характерах, в интересах, что пришла большая, настоящая любовь.

Вера покинула театр. Медицина не могла пока что вернуть ей зрение в такой мере, как это было необходимо для сцены. И когда она приезжала в гости на Ладу, то всегда носила темные очки, чтобы не огорчать родных Антона своим подслеповатым прищуром глаз. Она понравилась в семье за простоту, а Илье Матвеевичу и Агафье Карповне еще и за любовь к Антону, которую они не могли не видеть.

С приездом Веры даже Лида оживлялась. Она часами сидела возле актрисы и расспрашивала ее о театральной жизни, о поездках по стране, о труде актеров, по мнению Лиды, таком праздничном, веселом, легком. «Ошибаешься, — терпеливо разъясняла Вера. — Театр — это труд очень тяжелый, напряженный, нервный. Конечно, если в него вкладывать всю душу».

Агафья Карповна слушает-слушает разговор невесток, не выдержит, ответит Веру в сторонку, шепнет: «Брось, Верочка, с ней спорить. Идем, ватрушечкой угощу. Свеженькие, горяченькие. Идем».

Оставаясь одна, Агафья Карповна вспоминала всех своих сынов, невесток, раздумывала о том, как пойдет их жизнь дальше, какими путями-дорогами. Много, много о чем надо было подумать Агафье Карповне. О внуке, которого на-днях принесла домой Дуняшка, а самой Дуняшке — ничего-то она не понимает в материнских делах. Об Антоне тоже как не подумаешь? Этакое волнение внес в семью своим письмом. Раз десять мужчины перечли его письмо. Большая, говорят, ломка может получиться, серьезные для всех последствия. А что за последствия — сразу-то и не разберешься.

## 2

Александр Александрович сидел за столом в конторке из листовой стали, изнутри обитой большими квадратами толстого картона, снаружи окрашенной под светлое серебро. Конторка примостилась на самом краю пирса, рядом со стапелем, на котором, подобно отвесной скале, возвышался корабль — черная громада, обнесенная многоэтажными лесами из металлических рыжих труб. По сравнению с кораблем крошечное сооружение казалось не то елочной игрушкой, не то ящиком для слесарного инструмента, в лучшем случае — газетным киоском.

Перед Александром Александровичем лежала пачка нарядов, их надо было подписать, но Александр Александрович даже и за перо не брался. Он слышал ровный плеск воды под полом, меж свай, на которых стоял пирс, слышал отрывистый стук пневматических молотков на корабле, похожий на стрельбу то одного, то сразу нескольких пуле-

метов, — в зависимости от того, сколько молотков работало одновременно. Порой до слуха доносился густой шмелиный гуд: над кораблем, упираясь четырьмя медвежьими лапами в рельсы, проложенные по сторонам стапеля, полз травеллерный кран — огромный самодвижущийся мост, который подымал тяжести в двести тонн весом, — гудели его моторы.

По этим звукам Александр Александрович, не выходя из конторки, мог безошибочно определить, как обстоят дела на участке. Замолкли молотки в торцовой части стапеля, — так и есть, корпусная мастерская подвела, не выдала стальных листов, надо принимать срочные меры. Загудел, грузно пошел травеллерный кран, — устанавливают на корабль машины; никакие меры не нужны, машины — дело механиков, а не корпусников. Сила всплесков под пирсом свидетельствовала об уровне воды в Ладе, который часто колебался и, случалось, создавал угрозу наводнения.

На этот раз трудовые гулы и шумы сливались в размеренный привычный ритм и, как все привычное, не затрагивали сознания. Александр Александрович смотрел через квадратное окно на Ладу, на ее зеленватые волны, которые становились тем круче и злей, чем резче был ветер с моря; смотрел и раздумывал, зачем вызвали Илью Матвеевича к директору. Небось, когда дело идет хорошо, не вызывают: спасибо, дескать, разрешите положить вашу рабочую руку. Нет, этого в будни не дождешься, чествуют только по большим праздникам да в юбилей; а в будни одна накачка.

Александр Александрович ждал долго, не дождался, сидеть в конторке надоело, он пошел на корабль, поднялся по дощатым трапам на палубу.

Корабль уже почти вырос на полную свою океанскую высоту. С его верхней палубы далеко были видны окрестности. Извилистая Веряжка, через дюны пробившая себе путь к Ладе ниже завода. Старый поселок, клуб на холме, зеленая городская окраина. К центру города вдоль берега Лады шел недавно заасфальтированный широкий проспект, обсаженный тополями. По проспекту, искря бутелем, на полной скорости мчался синий с желтым троллейбус — вот-вот столкнется с встречным красным автобусом.

Среди тополей мелькнула серая «Победа», пустила лиловый дымок.

Старый мастер последовательно проделал те движения, какие он неизменно проделывал, когда с кем-нибудь спорил: сначала выставил вперед острый колющий подбородок, а затем, поправив очки, взглянул поверх стекол. В эту минуту он спорил, видимо, сам с собой, доказывал самому себе необходимость приобрести вот такую же серую «Победу».

Александр Александрович не мог равнодушно смотреть на легковые автомобили. До войны он упорно копил деньги, чтобы купить «эмку». Деньги, наконец, были накоплены, в наркомате ему помогли достать наряд, и как-то субботним вечером Александр Александрович прикатил в Старый поселок на собственной, сверкающей черным лаком машине. Он кружил по улицам, катал ныне покойную жену, соседей, знакомых, всех желающих; включал фары, гудел, давал задний ход. Если его спрашивали, зачем ему понадобилась машина — на завод ездить? — завод рядом, пешком скорее дойдешь; в город? — автобус есть, а в ту пору, до троллейбуса, и трамвай был, — Александр Александрович сердился на того, кто задавал ему такой глупый вопрос.